

## Николай Корепанов

### В тыну на острове у старцев

Поздней осенью 1774 года «государственных злодеев» уже почти добились, самого главного «государственного злодея» всюду допрашивали по застенкам, и в Екатеринбурге наконец перестали интересоваться вывешенными на базарном столбе реляциями и настороженно прислушиваться к разным смутным слухам. Со дня на день ожидали команды разбирать аврально наметанные вокруг города рогатки. Но командовавший за старшего премьер-майор Пирогов приказал снести лишь догнивавшее строение на прудовом мысу напротив плотины, а снесенное продать на дрова. Незнакомому с укреплениями и с этим городом напоминало оно нечто из фортификации, а вблизи него была даже устроена одна из оборонительных батарей.

Только это было не укрепление — это был тюремный острог. Он простоял на этом месте без малого сорок лет, хотя последние годы использовался не по назначению или же вовсе пустовал. Совсем недавно здесь размещались швальни екатеринбургских рот, пытались его и к чему-нибудь еще приспособить, но все-таки это был тюремный острог. В губернском Тобольске его как-то назвали Заречным тыном, и название прижилось. За обитым железными полосами частоколом, за окованными воротцами с калитками стояли десять крепких когда-то изб со смежными сенями, две караулки с будками для часовых и глухая стена, делившая тын пополам. И, надо полагать, полсотни старобрядческих крытых крестов — на одной половине с мужскими именами, на другой — с женскими.

А может, и не было никаких имен, вряд ли их кто-то нацарапывал.

Вряд ли кто-нибудь вообще доподлинно знал, что там творилось еще недавно. На слуху была лишь история, как двое караульных здешних рот познакомились с двумя молодыми смертницами, угощали их купленными на базаре калачами и пряниками, а потом вполне серьезно засобирались в побег, пока не донесли на них собственные жены.

Но все знали, что прежде смертников, летом долбавших мрамор на копях близ Горного Щита, а зимою переводимых в Екатеринбург, содержались в тыну раскольники. И не забылись еще обычные в Екатеринбурге и непонятные окрест, глухо тревожившие душу слова: «В тыну на острове у старцев».

«В тыну в заречном, где старцы и старицы содержатся...»

К любому из них должны были приходиться или приезжать за сотни верст, у них должны были спрашивать о самом главном, о чем боишься даже подумать, о них должны были слагать легенды и хранить память, часто додумывая и прибавляя от себя что-то такое, чего все равно не в силах постичь. А их тут было всех иной раз под сотню, и они сбивали бочки, а женщины ткали холст. В хозяйстве заводском все сгодится, хоть командиры заводские иной раз и высказывались в том смысле, что от непонятных этих арестантов пользы заводскому делу нет и быть не может, им и самих себя по немолодости лет не

---

**Николай Корепанов** (1964) — историк и краевед, сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Автор монографий, составитель сборников документов по истории Урала XVIII в.

прокормить, и работа им придумана, дабы только соблюсти все указы из высоких важных мест.

А до всего прочего не было дела заводским командирам.

Не было им дела, что старцы и старицы не ко двору здесь или же просто застряли в другом времени. В лесных кельях на Кержени или Обве успевали они отвыкнуть от этого мира, а этот мир тем временем безвозвратно менялся. Сказанные на допросах слова их мало отличались от тех, которыми говорили местные приписные или местные командиры, и все же говорили они совсем на другом языке.

На другом русском языке пытался им что-то объяснить старец Иван Иванов, 72 лет, как и многие прочие, схваченный в скиту на вятской Сиве-реке: «С Москвы сшел тому будет сорок пять лет и наперво пришел на реку Кержень к пустынным старцам в келью, в которой их было три человека. А старшим из них был Феодосий-старец». Отец его был из простых и негордых москвичей, что само по себе редкость, ибо Москва — во все времена Москва, и если парень семнадцати годов в здравом уме уходит оттуда в лесной скит, то значит что?.. Сначала староверческая пристань на Кержени, затем уральская речка Шайтанка, затем Сива, вот и всё, собственно, все сорок пять лет: «С церковью несогласие мое такое, что во оных служба не по старопечатным книгам, я же имею двоеперстное сложение».

Почти все они были из старинных российских уездов — из Костромского, Ростовского, Устюжского, Владимирского и прочих, некоторые с Волги. Потом появились и местные. Из самых дальних мест, кажется, был белец Осип Петров, 63 лет, уведенный отцом из Новгорода Великого.

Большую часть они были крестьяне — государственные, дворцовые, монастырские, даже и крепостные. Некоторые отцов не знали, некоторые что-то такое слышали от матерей или братьев-сестер: «Отец какой человек был — не знаю, понеже осталась от него в малых летах. А слышала от матери своей, что был он серебряник и жительство имел в Москве». «Отец — солдат отставной, а коего полку, сказать не знаю».

Лет им было первым, оказавшимся в Тыну и досконально расспрошенным, от сорока и более. И до потери счета: «Сколько мне от роду лет — подлинно сказать не знаю, а от родственников своих слышал, что будет около девяноста». «Сколько от роду лет — не знаю, а признаваю, что будет с восемьдесят». Впрочем, был один пятнадцатилетний подросток, схваченный на Кержени с отцом своим Карпом Малым. Они часто путали и годы свои, и белеческие имена, и всякие прочие мирские условности, может, и преднамеренно. Или же им это и вправду было неинтересно. Хотя жизнь свою излагали они всегда связно и не путались при повторных допросах: десять лет на Кержени, потом пятнадцать на Чепце, потом еще сколько-то на Лысьве или Сылве до поимки татарами и посланным с Осы поручиком Пальчиковым.

Начиналось же все по-разному — никто не знает как. Начиналось и за пять лет до Тына, и за пятьдесят.

«Сошел я с прежнего жилища с отцом своим, тому ныне будет с пятьдесят лет, от хлебной скудости...»

«Мать моя, белица, свезла меня в малых летах на Выйский дворянина Акинфия Демидова завод к свойственникам своим».

Из найма — «за хлеб и харч» — работали они у крестьян побогаче, у нечтящих закона купцов, у нелояльных заводчиков или еще у кого. Они запросто могли стать разбойниками. В лесные или речные «артельщики» тогда попадали, часто сами того замечая. Как и всегда, впрочем.

Но эти рано или поздно оказывались там, где оказывались: «А оттуда отец его сшел с ним тому будет лет с пятьдесят в Пермь на реку Юсь, и при оной построя они себе небольшую избушку, жил он в ней лет с пятьдесят до поимки его».

Тогда леса были другие. Заночевать в лесу на покосе или курене значило услышать тихий волчий вой, а вблизи горы Благодати на Кушве, когда стро-

или первые два завода, народ удивлялся, что шагу не ступить в чашу, не прорубившись топором.

В прочем же во всем жизнь отшельничья шла вполне предсказуемо. Лесное жилье свое называли они лесными избушками или кельями, жили в одиночестве или же по двое — по трое и знали, кто живет в соседях — в соседней келье верстах в пяти-шести. Были и такие, что скитались меж кельями мирского подаяния ради: «А я с братом, оставя без отца, скиталась в том месте около пустынных жителей, содержащих веру по старопечатным книгам, где имелось не только бельцов, но и чернецов довольно. Кормились около них Христовым именем». Обычно же собирали ягоды и хмель, продавали мимо проезжим торговым людям или носили на продажу в ближние селения — и за пять верст, и за тридцать. Вырезали для того же ложки, сворачивали из бересты (тогда говорили: скáла) туеса и пайвы, сплетали коренатки — короба из древесных корней. Некоторые ловили рыбу и от ловли кое-что продавали. Женщины сеяли лен, потом мяли и пряли. Об огородах, ни тем более о домашней живности ни один ни разу не упомянул. Иногда покупали хлеб в ближайшем жилье, меняли на что-нибудь лесное или своеручно сделанное. «Оный мой брат делал ложки, а я с женою его лен пряла, и продавали живущим около тех мест вотякам». И почти всякий поминал, что рыхлили у келий землю железными мотыгами и сеяли хлеб.

Можно сказать, самоограничение — форма кабалы. Но такими они и вправду были — ни в чем не нуждались, ничего не хотели. В конце концов, кто может сказать, где была подлинная жизнь — в богатевших столицах ли, на сибирских ли заводах или в лесных кельях?

Учили грамоту.

«И учился в келье у того старика грамоте и обучал Часослов и Псалтирь. А те книги старинной печати купил он Симбирского уезду в монастырской ярмарке».

«И живучи у того старца, учился грамоте по старопечатным книгам, который для того из прежнего моего жилища к себе в келью перезвал жить».

Ибо главным почти для каждого и почти с самого начала всегда было вот это: «С церковью несогласие мое такое, что в них служба происходит не по старопечатным книгам. Я же двоеперстное сложение имею».

На допросах они всегда произносили это одинаково и скучно. Ясно, что отвечали на один и тот же вопрос: «Какое твое с церковью несогласие?»

«С церковью мое какое несогласие, я не знаю, понеже грамоте не учен. Но от своих же братьи раскольников, кои грамоте умеют, слышал, что в них служба происходит по новопечатным, а не по старопечатным книгам. Кои я за правдивые почитаю. Я же имею двоеперстное, а не троеперстное сложение».

«Несогласие мое такое, что около церкви со кресты ходят против Солнца, а не по Солнцу, как прежде бывало. И креститься принуждают тремя персты».

Их-то самих, как и отцов и матерей их, хрен бы кто к чему принудил. Они об этом не говорили, это подразумевалось само собою, раз уж путь их привел в этот Тын. В лесных кельях от лесных старцев принимали они постриг или входили в искуc, некоторые оставались бельцами.

Нарочито просто или нарочито витиевато объясняли они здешнему офицеру, уставшему их слушать и не пытавшемуся понять, отчего они складывают два перста (средний немного согнут, чтобы вровень был с указательным), отчего с рождения или с детства ноги их не ступало за церковный порог и как должно писать имя Спасителя. Офицеру же полагалось думать, и с него спрашивали о недобранном с куреней угле, о покосившемся вале боевого молота и о задержке расчета с приписными соседней слободы. А он сидел и каждому задавал одинаковые вопросы по приложенному списку, и подканцелярист записывал разные ответы.

«В раскол впал по научению и увещанию отца своего, который и в церкву ходить не велел, и образам поклоняться, кои не старинного писания...»

Пожалуй, самым важным для них это и было — то, что говорили им родители: «Отец его сказывал ему, что в церквах не по старому служба происходит, да и образам Спасителя нашего, и Богоматери, и Их угодников, кои не старинного письма, поклоняться не велел».

«В церковь ходить мне запретили отец и мать моя. Слышал от них, что вера переменена и служат в церквах не по старине. И для того я от рождения своего в церкви никогда не бывал».

«А крещена ль и кем — о том от отца своего не слыхала».

Все они всегда твердо знали, что им есть куда идти. Что их там ждут.

Их ждали там старец Феодосий, или старец Макарий, или старец Софоний. «Когда же он в кельях жил на Кержени, то у черного попа Софония на исповеди бывал и святых тайн приобщался. Которые тайны он, Софоний, привез с собою из Соловецкого монастыря...» Получается, что были они всего лишь из второго поколения староверцев и видели еще, а некоторые и знали тех, кто помнил Соловецкое сидение и как все это начиналось.

Старца Макария в миру звали Михайлой, Ивановым сыном, старца Феодосия — Федором, Ивановым сыном, а как по-белечески звали «черного попа» Софония — никто не знал. Знали других.

«Жил в келье у старца Ионы, коему белеческое имя Иван, четыре года. Всего его житья по той Кержень-реке было годов с тридцать».

«Оттуда сшел он назад тому будет лет с тридцать и пришел наперво на Кержень-реку, в келью к старцу Игнатию, который уже давно помер. И жил у него год, учился грамоте по старопечатным книгам, и обучил у него Часослов и Псалтирь».

На их глазах уходили те лесные старцы, они их видели последними. Из соседних келий, отстоящих и за пять, и за десять верст, сходились такие же для погребения. Если было кому отпеть — отпевали. Случалось, появлялись какие-то новые: «Увещевал нас к тому из черных попов Никифор, Иванов сын, который прежде был в Яицком городе белым попом, потом постригся и жил по кельям в лесах и в жилых местах». Но конечно, трепетную память берегли они совсем о других — о тех, кто прожил в келье всю жизнь, и иногда казалось, там откуда-то сам собою и взялся. Из воздуха лесного. О таких обычно интересовались в Москве, в Синоде, о таких присылали запросы.

И вот из Синода, едва лишь встал екатеринбургский Тын, затребовали допросить содержащихся в Тыну о таких-то и таких иноках и схимниках, кроющихся где-то в лесных скитах, чем-то не угодных «великороссийской церкви». Более прочих интересовал Святейший Синод живущий где-то в керженских лесах инок Варсонофий Павлинов, иконописец, помимо икон писавший письма к пустынноикам о житии их, подписывавший их: «Писано сие письмо рукою многогрешного черноризца инока Варсонофия П.».

И случайно оказалось, что один из зареченских старцев знал его.

Во изыскание истины их не всерьез допрашивали. Здесь был не Тобольск и не Синод, и они могли бы вовсе не отвечать. В общем, им даже повезло, что они оказались именно в этом городе, где не успели еще забыть генерала Вилима Ивановича, который ничего против раскольников не имел, многих знал по именам и доверял им большие заводские дела, и чьим велением на северном берегу Шарташского озера появилась деревня из таких, как они. В Екатеринбурге ковалась новая Россия, в пяти верстах от него хранилась русская старина.

Говоря образно и по-современному, Шарташ был заповедником старообрядчества, Заречный тын — загоном его. Один появился благодаря Геннину, другой — по воле Татищева.

Хоть и нельзя сказать, чтобы лично Василию Никитичу, тогда уже в чине тайного советника, в одном лице главному командиру екатеринбургскому и оренбургскому, пришла в голову светлая мысль строить в Екатеринбурге тюрьму старообрядцам. В.Н. Татищеву была тогда задача ставить крепости по башкирским волостям, строить у границ «Казачьей Орды» великий город

Оренбург и строить же великий завод на реке Ике — на меже татарских и башкирских земель. С завалом дел по Оренбургской экспедиции он убивался тогда в Самаре, и только старообрядческих хитросплетений и не хватало ему. Но указы из столицы ясно велели вылавливать по лесам лесных старцев и стариц и годных употреблять в работу, а всех прочих ссылать в сибирские монастыри.

И выловленных по уральским лесам скольких-то действительно разослали по монастырям, а сорок три старообрядки губернский Тобольск не принял и вернул под конвоем в Екатеринбург. Потом была бумага от митрополита Тобольского и Сибирского в Синод, из Синода — императрице Анне Иоанновне, и, наконец, высочайшая резолюция: «Необращающихся к церковному соединению раскольников содержать на казенных заводах под крепким караулом, сделав для того особливые дворы с высоким тыном, и употреблять к горным работам».

Но тын во всей Сибири получился один — Заречный тын в Екатеринбурге, для него В.Н. Татишев своею рукой нарисовал чертежик и назначил место, с трех сторон окруженное прудовой водою, с севера огражденное непроходимой лесной чащей. И распорядился прислать еще тридцать пять старцев и стариц, выловленных в волжских, вятских и пермских лесах, поселить в Тыну и впредь употреблять в заводские работы.

Весной 1738 года встал Тын о восьми избах, поперек разрезанный глухой стеною, — четыре избы на мужской половине, четыре на женской. «Чтоб сквозь щели говорить было невозможно», — согласно пожеланию тайного советника. Предполагалось, что выйти отсюда уж никому не придется, должен Тын стать для них последним приютом, впредь же еще примет всякого, кого пришлют. Как, например, из Московского сыскного приказа прислали пытаных и битых плетью старцев Трефилия и Илию, природных москвичей, «злого раскольнического лжеучителя» Ивана Ильинского и еще трех бельцов.

Так вот, вскоре же всех поголовно допросили о прежней их жизни, последним пунктом допроса имея спросить о таких-то и таких пустынножителях и, главное, об иноке Варсонофий. Отчего-то в столице подобные вещи кажутся многим сравнимыми по важности с заводским действием или же со строительством целых городов.

Многого они наверняка не сказали — не пожелали говорить, а здесь было не то место, чтобы допытываться всерьез. Во всяком случае, не по такому делу. Но кое на какие вопросы все же ответили. И случился некоторый даже переполох, когда один из старцев Тына, старец Досифей, вдруг признался, что водил знакомство с иноком.

На речках-де Чепце и на вятской Сиве, «скитаясь по лесу», набрел случайно на келью инока: «И что он раскольник, как я, с того и знакомство стало быть».

Что-то они сказали друг другу, поздоровавшись, и о чем-то беседовали потом, встречаясь хоть раз в полгода, когда Досифей, пройдя по лесу пятнадцать верст, заходил в гости: «Прихаживал к нему в келью для посещения по разные времена раза с два или с три. И бывал в каждый раз не подолгу — по часу времени и больше. А других при том никого не бывало, только что двое. Разговаривали меж собою только один на один о скитском житии от старопечатных книг». Может быть, о том, что всё, говорят, изменилось до неузнаваемости и продолжает безвозвратно меняться, чем дальше, тем сильнее, просто страшно подумать. Может быть, о том, что жизнь прошла или почти прошла и они хотя бы смогли прожить ее так, как прожили, а потом что? А более, может, и говорить было не о чем. «И при мне ни к кому никогда он, Варсонофий, не писал и совета никакого не требовал, да и требовать не для чего, для того что я грамоте не учен».

А может, и были разговоры меж ними глубоки и таинственны и полны скрытого, им лишь понятного смысла, не касающегося уха и разума заводских командиров и официальных выразителей. О застывшем порядке вещей и богатстве внутреннего выбора, о множественности миров и возможности от-

казаться хотя бы от одного из них, навязанного извне, о духовном комфорте и неготовности принять радикальную идею или хоть информацию. Или как там это называлось у них, у неграмотных или полуграмотных схимников XVIII века. Кто о том знает? Только тот, кто прожил отшельником в лесу, в лесной келье, сорок лет.

Его спросили на допросе: «По какому достоверному свидетельству ты про него знаешь, что он подлинно умер?»

Он ответил с некоторым даже сарказмом: «Явное тому свидетельство, что я сам его своими руками погрёб». Зашел как-то в гости, но в живых уж не застал.

Старца Досифея по-белечески звали Евтифеем, Тимофеевым сыном, был он волжским крестьянином, десяти лет от роду по смерти отца ушел на Кержень, жил в келье старца Ионы, пострижен был в пустынножительные монахи соловецким старцем Софонием, после смерти его со старцем Христофором ушел на Чепцу (они говорили: на Цепцу-реку), где поселились они разными кельями. Всей же отшельнической жизни старца Досифея прошло в лесу более сорока лет.

Такие люди жили в том клочке Екатеринбурга, под тем клочком видимого ими екатеринбургского неба, где потом полвека после них никому не дозволялось селиться и где потом встала дача самого знаменитого из екатеринбургских генералов.

В их же пору не было здесь генералов, а памятен им был на весь остаток жизни поручик Пальчиков, посланный с Осы с командой служилых татар. С Кунгура же прочесывать окрестные леса отправилась обычная солдатская команда.

Когда-нибудь еще кому-нибудь зачтется, а может и уже зачлось, за то, как их тогда ловили. Старцы нехотя и невнятно рассказывали о поимщиках, старицы же — в подробностях. Им, наверное, горше досталось. Поручика Пальчикова называли они по женскому недознанию воеводою. Или солдатом. В их устах звучало это более грозно.

«Потом прибыв в леса осинский воевода Пальчиков, прошлого 1738 года в Великий пост, меня поймав, увезли в Кунгур, а мать мою и с кельею сожгли. Дядю же застрелили».

«А других всех со мною в тот лес пришедших родственников посланный с Осы солдат с татары прибили и прижгли. А меня с сестрою моею Маврою, поймав, привезли в Кунгур, а оттуда прислали сюда в Екатеринбург».

«Брата моего с женою, набежав, татара порубили».

«А отца моего в том же лесу, где жили, при поимке, как он не давался в руки, те посланные солдаты срубили».

Писаря исправно записывали, офицер исправно представлял допросы в судейскую камору, где по коллежскому порядку заседали трое командиров, екатеринбургские командиры оценивали ситуацию. В общем, они хорошо представляли, чем это может кончиться. Чего можно ждать от таких.

«Находящимся в карауле урядникам ежедневно приказывается, чтоб в тот тын к старцам и старицам отнюдь посторонних никого не допускать и разговоров ни с кем никаких не иметь. И накрепко смотреть же, чтоб не могли сгореть или б над собою другого какого зла учинить».

Можно допустить даже, что именно благодаря неукоснительно соблюдаемым уставам и командирским приказам не запомнился Тын вовеки, не случилось здесь массовой «гари», массового староверческого самосожжения.

Впрочем, были среди них и не готовые к тому, случайные люди.

Две сорокалетние тетки, обычные белицы, пошли к лесным кельям по согласию с пустынниками то ли мять лен, то ли вовсе по грибы, подвернулись наехавшей солдатской команде, оказались среди задержанных в Кунгуре, а затем и в Тыну. Несколько раз подавали бумагу с жалобой на неправый суд, желая воли и прося лишь оставить им их веру. Но, как и полагается случайным и вовсе невинным, прожили под замком более десятка лет. Надо полагать, их

родные только лишь спустя эти десять лет и узнали, что были они живы, а не сгнули в лесу.

Женщин в Тыну всегда было больше мужчин. Спустя первые пять лет на мужской половине его содержалось двадцать семь человек, на женской — сорок восемь. В дальнейшем соотношение не менялось. Мужчинам — «покуда могут их продлиться» — поставлена была задача связывать для заводского дела бочки и деревянные ведра, резать деревянную посуду, вить канаты. На прочие заводские работы «могуты» их все равно не хватало б. Женщинам судьбою и тайным советником Татищевым назначено было прясть лен, ткать холст и шить холщовые кули под екатеринбургскую монету, лить сальные свечи. Хотя в те же годы «могущих» к прядению и шитью набиралось, по уверениям заводских властей, менее двух десятков, а прочие все были старухи или скорбные болезнями. Им тогда по их просьбе дозволено было ходить по своей половине Тына свободно; мужики, даже и восьмидесятилетние, гремели ножными кандалами. Мужчинам полагались по нормам каторжников одежда и обувь, провиант и кормовые деньги, женщинам только провиант и деньги — по пуду ржаной муки и ячневой крупы на месяц и по две копейки на день. У тех и у других изымалось все похожее на монашеское одеяние и все имеющее отношение к церковной службе. И под угрозой жестокого телесного наказания всякому, кто будет замечен, запрещалось передавать милостыню (тогда говорили: милостина) непосредственно в руки старцам. Подавать полагалось через караульных.

Надо ли говорить, что и этот указ не выполнялся. Чем, в конце концов, он лучше сотен и тысяч всяких прочих указов? Архиерейский Тобольск в те времена либо старался не замечать, либо сдержанно негодовал: приходят-де и подают, и не только местные раскольники, а и вполне правоверные жители. «И хотя у того Заречного тыну часовые имеются, токмо раскольники до старцев и стариц беспрепятственно допускаемы бывают».

Действительно, приносили в Тын подаяние, не могли не приносить. Хотя бы раз в неделю подходили к воротцам по двое-трое местных раскольников — и не только раскольников, приносили, храня честь города, хоть краюху печеного хлеба или кринку молока. Или подъезжала телега с Шарташа с возом капусты или рыбы. Или даже из окрестных слобод приезжали, или вовсе издали. Из Челябинской крепости заезжал казак — то ли проездом в Невьянский завод, а то ли подать милостыни. Громкое получилось дело, дошло до Тобольска, а может, и до Синода.

Ибо оказалось, что получают «доброхотодатели» что-то взамен.

Что-то говорили им старцы. Наверное, было что им сказать, или же пришедшие с ходу были готовы согласиться со всем услышанным — такое тоже возможно. Не та была жизнь заводская, чтоб не выслушивать сказанное лесными старцами. Была церковь в Екатеринбурге, потом появилась другая, и был этот Тын. И отчего-то именно к Тыну приходили из дальних мест.

«Многое число людей к ним, в том Тыну содержащимся раскольникам, приходят и чрез их плевелы от Церкви Святой в раскол совращаются». Даже и один из караульщиков «совратился», пообщавшись со старцем Дионисием, получил за то плетей, но так ни в чем не признался.

Этот Дионисий, по-белечески Денис, Федоров сын, был местный, доставленный в Тын с демидовской Нейвы со старцем Варламом, наказанный кнутом за укрывательство разбойников (или же признанных таковыми). Боевые были старцы, и Варлам почти тотчас выбрал случай и своею волей покинул Тын.

...В избе, устроенной под бочарню, топилась печь, и старец поставил горшок с водою под щипы. Им тогда дозволялось под присмотром караульного выйти на берег, прополоскать рубаху или хоть зачерпнуть воды в горшок. Караульный остался у печи прогреть кафтан, а старец — 50-летний крепкий дядя, смуглый и широконосый, — вышел на минутку из избы притворить двери. Потом вода закипела, естественно.

Допросили караульных и долго выпытывали признание старцев Дионисия и Иоасафа. Для работы старцы разбиты были на артели, и в бочарной избе трудились еще несколько человек, но с допросами прицепились отчего-то именно к этим двум. То ли взгляд у них был какой-то не такой, то ли что... По глазам было видно, что положили они себе непревратное некое намерение.

В начале пятого утра узников будили и перекликали, у старцев проверяли ножные «железа». Трудились они с обеденным перерывом до десятого часу вечера, потом опять перекличка, и опять караульные подергивали кандалные звенья. Потом было время подумать — хоть до самого утра: «Отужинав, иные ложились спать, а иные Богу молились». Позже, впрочем, выяснилось, что они там по ночам не только молились и думы думали. Обед и ужин готовили на печах, на ночь все огни в избах гасили. По ночам караульный обходил избы и под окнами громко спрашивал: все ли здоровы, все ль благополучно? И ждал ответа, не заходя. Избы в Тыну звались чаще казармами и на мужской половине зарешечены были железными решетками. Избы на ночь запирались, железный инструмент, с каким трудились днем, изымался.

Однако же, как выяснилось, не всегда и не весь.

Спустя пять лет после Варламова побега, в октябре 1745-го, семеро старцев, прокопав ножами «подкоп» из избы на двор, железною трубкой, которой резали деревянную посуду, выломали тычину и ушли в ночь. Старшим был старец Дионисий. А старцу Иоасафу, бывшему крепостному из Арзамасского уезда, «могуты» уж не хватило для таких дел — 85 лет. В бельцах его звали Осипом Казанцевым.

В Тыну допросили всех оставшихся, и всякий проговорил обычное: «Намерения я к тому побегу не имел и о побеге их намерения не знал, и каким случаем бежали — не знаю ж». Караульные лишь вспомнили, что накануне старец Дионисий против правил дважды подходил к часовой будке, спрашивал, который час. Старец Антоний показал вдруг, что унесли беглецы две его старопечатные книги, листовое золото и сосудец оловянный: «А прочего скарбу у меня не унесли».

Перетряхнули весь скарб по Тыну, повторно допросили Антония — в миру Антона, Андреева сына, бывшего костромского жителя, 82 лет. Он показал: «Вышеписанный сосудец оловянный сделан мне для того, чтоб из него причащаться Святых тайн. Из которого я и причащался один, а другие моя братья никто из него не причащались. А причащался я из него на праздники Успения Пресвятыя Богородицы, то есть августа на 15 число... А тело Христово взято было мною из Польши, местечка Гоми, из монастыря Покрова Пресвятыя Богородицы от старца Ефимия».

Старец ошибся. Оловянный сосудец, или фиалочка, или, говоря церковным языком, дароносица, найдена была среди изъятого в те дни по Тыну. Вообще, среди изъятой раскольнической пажити много было запрещенного и любопытного.

Например, утварь для причастия с кусочками, надо полагать, просфоры: коробочка белой жести, в ней «дароносец» оловянный, ложечка белой жести и бумажка с завернутыми хлебными крошками. Кое-что из монашеского облачения, мешочек с лестовками (четками), иконы и книги, несколько самодельных тетрадок с записями, навсегда потерянных. И главное — свидетельство того, что не просто сидели в Тыну старцы и бочарничали, а и творили нечто божественное: скляночки с красками и кисти, круг и тиски к обрезке книг, начатые писанием складни. Все это отправлено было частью в Синод, частью в Тобольск — даже и подозрительные хлебные крошки. Об оловянной же фиалочке в жестяной коробочке проведено было дополнительное маленькое расследование.

Оказалось, местные мастера сделали. Оказалось, старцы запросто могли заказать в Екатеринбурге все им потребное, любую вещь.

Местный лудильщик вспоминал: «Назад тому года с три к содержащимся за рекой в тыну раскольникам приходил я для подачи им милотины. И в то



время старец Антоний спросил меня: какой ты человек? Я ему сказал, что я лудильный мастер. И оный Антоний меня просил ему сделать жестяную коробочку небольшую. И я ему на то говорил: делает-де их оконнишний мастер... И оный старец меня просил ему о той коробочке поговорить».

Об оловянной же дароносице старец договорился через приведенного в Тын ссыльного прядильщика прозванием Пряха. И вручил, по словам Пряхи, модельку: «И по прошествии трех дней по оную фиалочку я сходил, и принес в тын, и отдал оному Антонию. А денег сколько за нее я от него для отдачи оному стальному мастеру взял — того не упомяну».

Старец Антоний умер вскоре же. В Екатеринбургской полиции вынесли обычное определение: «Погребсть во оном же тыну, как и напредь сего таковы умершие погребены были».

Точно известно, что к 1751 году на обеих половинах Тына было ровно сорок могил. Впоследствии прибавилось их ненамного, но, конечно, прибавилось. Доподлинно же известно, что в том значимом для Тына году содержались там шестеро старцев и семеро бельцов, 49 стариц. Появлялись и новые, теперь уж не из дальних лесов, а из окрестных. И тогда же случилось невероятное — в рыболовной избушке на острове Каслинского озера схватили четверых «потайных» раскольников, одним из них оказался участник памятного побега из Тына.

Его звали Мокеем Шубиным, ему было семьдесят лет, из них полвека провел он либо беглым в лесах, либо в заключении. Полвека назад бежали они с отцом от нижегородского помещика в Самарский уезд, во Львовы леса, где крылись тамошние раскольники. (Из допросов зареченских узников как-то так получалось, что в каждом крае, чуть не в каждом российском уезде были свои несогласные, и было им место, где ухорониться.) Из Львовых лесных келий ушли с тремя бельцами в верховья речки Самары: «Ушли от обиды живущих поблизости оных Львовых лесов мордвы и чуваш». Всего в тех местах прожили они три десятка лет, собирали на продажу лесные ягоды и сплавливали лес до Самары. Потом были пойманы посланной от Татищева командой, оказались в Тыну.

С отцом считали они себя беспоповцами и тем отличались от почти всех прочих узников Тына, называвшихся беглоповцами. Прочие почти все читли лесных старцев — «пустынножительских» монахов и священников, или же сами таковыми были. Отец Мокея в том Тыну и успокоился на девятом десятке, сам Мокей готов был еще ко многому.

...В побег взяли сколь можно хлеба, дабы не заходить в жилые места. Дошли до демидовского Черноисточинского завода, в четырех верстах от него на речке Чаус построили лесную избушку, прожили там год, оживая душой: «А хлеб покупали у дровосеков, которые про их житие все знали и место им для избы указали». Потом один из беглецов умер, прочие, схоронивши товарища, разошлись в разные стороны. Мокей добрался до Каслинского завода: «На котором у старухи Анны Васильевой ночевал две ночи заведомо, что беглый раскольник, для того что во оном Тыну с сыном ее сидели и к побегу соглашались вместе». Потом перебрался жить на озерный остров.

Понятно, что ни черноисточинские дровосеки ни в чем не признались, ни слепая старуха Анна, Васильева дочь, кормившаяся на Каслях Христовым именем.

После того побега, кстати, работать в «бочарне» старцам запретили, а дозволили работать под открытым небом, кроме лишь морозных и ненастных дней. Но на женской половине одна изба оставалась выделенной под «прядильню».

На той половине всяких неожиданностей почти не случалось, однако же что-то не вполне ясное происходило и там. Как-то у пришлого одного раскольника в застенке Екатеринбургской полиции уже после дыбы, еще до троекратного жжения огнем, выпытано было имя: Анфимья Тюменка. Дословно так: «Живущая здесь раскольница Анфимья, Тимофеева дочь, прозванием

Тюменка... У ней в горнице за печью подымается пол, и тут книги, данные на сбережение от здешних содержащихся в Заречном тыну раскольников. Из коих одну книгу, Триодь цветную, я у ней читал». Но на очной ставке 70-летняя Анфимья Тимофеевна заперлась под плетьюми, и тем дело и кончилось.

Здесь надо сказать, что екатеринбургские командиры, понимая жизнь просто, делили зареченских узников на женщин и мужчин. Архиерейский же Тобольск грань (или же стену в Тыну) готов был провести скорее между принявшими самовольный монашеский постриг и оставшимися в бельцах. В 1751 году Тобольск затребовал выслать к «увещеванию» всех зареченских старцев и стариц, а до высылки провести в Тыну очередной обыск, изымая иконы, книги и т.п.

Обыск проводили екатеринбургский протоиерей Федор Кочнев со священником и офицер с солдатами. Отыскать, извещал протоиерей, удалось лишь одну тетрадочку о двуперстном сложении, разговора же не получилось вовсе: «Раскольники по увещанию являются упорны, а особливо из бельцов раскольник присыльный Иван Ильинский в раскольнической прелести весьма тверд и против увещания крепко спорит. От коего, надежно, что и прочим в тыну содержащимся раскольникам бывает наставление».

Словом, в Тобольске окончательно уверились, что Заречный тын никакая не тюрьма, а раскольничья богадельня, рассадник инакомыслия и всяческих соблазнов. И открыто выражали недовольство мирскими подаяниями, слабостью караула и прочими заводскими безобразиями. Тобольскую кафедру тогда занимал митрополит Сильвестр. Человек был неуступчивый и нетерпимый к иноверию, спорить с таким ни в какие времена никому не желательно. В Екатеринбурге дождались столичного решения о высылке зареченских узников на их коште — на их, вероятно, кормовые деньги — и в феврале 1752 года передали прибывшей из Тобольска конвойной команде восьмерых старцев, двух стариц и одиннадцать «лжеучителей-бельцов»: «В том числе один злой раскольнический лжеучитель Иван Ильинский». В самый канун отъезда умер и погребен был в Тыну старец Иоасаф.

Прочие, надо полагать, хоть однажды ему позавидовали. По полтора десятка лет не снимавшим железа по Тыну и с утра до ночи катавшим для заводских нужд разную бочкотару, им пришлось теперь плотно пообщаться с уверенными в их неправоте иерархами.

Неизвестно, о чем они беседовали, но известен некоторый результат.

Старицы Анида и Феврония «по увещанию» обратились от раскола и были сосланы в Томский женский монастырь.

Пятеро старцев и семеро бельцов обратились и под конвоем же отправились в сибирские монастыри, одного отправили в церковные сторожа в Березов.

Старцы Илья и Иван Иванов не обратились, были сосланы к дальнейшему увещанию в Томский и в Енисейский монастыри.

Двоих необратившихся бельцов оставили в застенке при Тобольском архиерейском доме. «Злой раскольнический лжеучитель» Иван Ильинский понятно, что не обратился, и был сослан в Кодинский монастырь.

Старец Досифей, тогда уже 84-летний, не обратился, сослан был в Красноярский монастырь и по пути бежал.

Такие люди жили в Тыну.

Итак, в 1752 году мужская половина Тына почти опустела, и, дабы не простаивало втуне добротное заведение, сюда вскоре пригнали на зимовку колодников-смертников с Горношитских мраморных копей и впредь стали же пригонять. Теперь в Тыну пребывало более сотни узников и с каждым годом еще прибавлялось. Ибо, как известно, во времена императрицы Елизаветы Петровны смертников не казнили — а куда-то же их надо было девать.

Тын стал другим, и другие речи теперь в нем звучали, понятные тем, что содержались здесь по обычным уголовным делам. Впрочем, и среди них были староверы. И все еще изредка случалось, что присылали из Тобольска некоторых, где-то как-то выловленных, видимо, Тына достойных.

В эти годы недолго пожил в Тыну и самый, пожалуй, знаменитый из сибирских «расколоучителей» — Гаврило Морока.

Он был из разряда пророков, о нем знали по всей Сибири и слышали на самом верху, и он костью торчал в горле у Святейшего Синода. Просто удавить его в одной из десятка знакомых ему тюрем не годилось, дабы не вызвать непредвиденного. Одно лишь его присутствие меняло положение дел в городе и крае. Екатеринбургские командиры всерьез опасались готового начаться брожения в умах. Во всяком случае, выяснилось, что даже за те полгода, что провел Морока в Тыну до высылки в Тобольск, сумел он вроде бы наладить переписку с «суверцами» в прочих тюрьмах. В Тыну провели очередной внезапный обыск, но писем с «греховными падежами» не нашли.

А дело плохо, когда заключенные в тюрьме выше духом тех, кто их стережет. Или хоть регулярно предупреждает их с обысками.

Словом, пришла пора на что-то решаться.

В Екатеринбурге уже не раз высказывали глухое недовольство своею славою главной старообрядческой тюрьмы. В основном упирали на непригодность старцев для заводского дела и на немалые издержки на их содержание. Но по-иному идеологов нации не переспорить.

В июне 1757 года в Тобольск отправилось требование впредь не присылать в Тын ни старцев, ни стариц, а присмотреть для того ближние к Тобольску монастыри. Требование, впрочем, не выполнялось, не пришло еще время.

А пришло время с воцарением Екатерины II и со знаменитым ее указом: «Раскольников, кроме прямых богохульников, содержащихся до сего времени под караулом, всех свободить».

Надо сказать, что освободить из Тына все же случалось. Отпустили двух белиц, совсем уж случайно там оказавшихся, освободили совсем уж дряхлую старуху на поруки богатейших екатеринбургских и шарташских староверов, освободили демидовского крестьянина по совсем уж настоятельной просьбе заводского приказчика.

Воли же по нынешнему императрицыну велению ожидали в Тыну два с лишним года. Можно допустить, что об указе они даже и не слыхали, но, конечно же, и екатеринбургские командиры, и тобольские иерархи не раз уже имели случай убедиться, что старцы и старицы Тына знают об окружающем мире много больше, чем им положено. Да и к тому же вести об амнистии до тюрем доходят всегда скоро. Иной раз и заранее.

В зиму 1764/65 годов протоиерей Федор Кочнев освидетельствовал каждого и по каждому вынес определение: «Прямого богохуления не оказалось». В феврале 1765 года главный командир екатеринбургский генерал Ирман распорядился окончательно: «Оных раскольников и раскольниц свободить на добрые и надежные поруки».

На поруки освобождались трое бельцов; один из них, присланный из Москвы с Иваном Ильинским, сидел в Тыну двадцать третий год. И еще тридцать две старообрядки, почти все старившиеся здесь с самого начала, — двадцать восемь полных лет.

Здесь еще пожил недолго колодники-смертники, но и таким, как они, скоро вышло время, а потом и сам Тын обветшал безвозвратно. Стать же каменным тюремным замком и утвердиться знаменитой тюрьмой ему было не суждено. Славы острова Иф, или «дьявольского острова» Алькатрас, или, скажем, боговдохновенного острова Патмос мысок екатеринбургского пруда так и не достиг. Оно и к лучшему, конечно. В конце концов, ни генеральская дача, ни тем более ротные швалыни, а если подумать, то и давно истлевшие нары помилованных смертников не заставят сжаться ничье сердце. И отчего-то же сам собою застывает ваш взгляд на том берегу городского пруда, где оказались когда-то не по своей воле, долго жили и умирали хранители высокой тайны екатеринбургского Заречного тына.